

Юлий Айхенвальд

Глеб Успенский



Юлий Айхенвальд

Глеб Успенский

«Public Domain»

1914

Айхенвальд Ю. И.

Глеб Успенский / Ю. И. Айхенвальд — «Public Domain»,
1914 — (Силуэты русских писателей)

ISBN 978-5-457-13378-5

«Одинокое и оригинальное место, которое занимает Глеб Успенский в нашей литературе, прежде всего характеризуется совершенно необычной формой его произведений. Его духовное наследие велико, он написал очень много, но только редкие из этих бесчисленных страниц образуют законченное целое. Он не только не оставил нам ни одного романа или повести, но даже и небольшие цельные рассказы его тонут в массе отрывков и набросков, в бесконечной веренице отдельных сцен и эпизодов...»

ISBN 978-5-457-13378-5

© Айхенвальд Ю. И., 1914
© Public Domain, 1914

Юлий Исаевич Айхенвальд Глеб Успенский

Одинокое и оригинальное место, которое занимает Глеб Успенский в нашей литературе, прежде всего характеризуется совершенно необычной формой его произведений. Его духовное наследие велико, он написал очень много, но только редкие из этих бесчисленных страниц образуют законченное целое. Он не только не оставил нам ни одного романа или повести, но даже и небольшие цельные рассказы его тонут в массе отрывков и набросков, в бесконечной веренице отдельных сцен и эпизодов. Успенский сам называл свою литературную деятельность черновой работой, материалом, который он самоотверженно подбирал для другого, будущего художника; но если даже принять такое скромное сравнение, то надо заметить, что эта черновая основа его писаний – тот драгоценный чернозем, на котором раскидываются золотые нивы желтеющего хлеба. В самом деле: его рассказы не готовы, но, читая их, вы присутствуете при самом таинстве художественного созидания, вы как бы видите пред собою рождение беллетристики. Из пены жизни выходит его любимая Венера Милосская, прекрасная богиня красоты.

Вот она, житейская действительность, отраженная Успенским в строгой форме публицистического рассуждения, – но вы не успели оглянуться, как эта статья, эта статистика, эта «черная мошкара или крупа» цифр под руками автора вдруг обращается в осязательные картины, в живые образы, и, например, нелепая статистическая дробь, «четверть лошади» на «каждую там квадратную, что ли, или ревизскую душу», – эта дробь, таящая в себе человеческое целое, «человеко-дробь», сейчас же выступает в своей горестной реальности и принимает фигуру согбенной крестьянской женщины, в семье которой нет лошади и которая поэтому, отправляясь за две версты на покос, мучительно задумывается, как ей донести своего ребенка, когда в одной руке у нее полушубок и подстилка, а в другой – коса и обед для мужа; и вот Успенский видит, что к этой женщине подходит добрый сосед-крестьянин и, после долгих опытов и раздумья, с шутливыми прибаутками кое-как прилаживает девочку к матери на шею; и баба медленно, не шевелясь ни вправо, ни влево, трогается с места, и писатель мысленно идет вслед за нею и слушает ее прерывистый, задыхающийся рассказ и провожает ее на покос, где так трудно работается с четвертью лошади. Статистические таблицы непосредственно развернулись в живопись жизни.

И все эти сцены и картинки не представляют для Успенского только внешнего орнамента или виньетки, без которой можно было бы легко обойтись: нет, они прямо вытекают из его сердца и поэтической фантазии, которая воспламеняется от прикосновения к действительности; это – своеобразное проявление той «власти земли», подчинение которой было в его глазах так естественно и отрадно. Наша бедная, несчастная земля вызывает в нем душевную боль и рисуется ему в виде страдающих людей. Он и воспроизводит их страдальческие лица, намечает их сильными и выразительными штрихами; но создать из этого живого и трепещущего материала законченную художественную галерею – для этого у Глеба Успенского недостает спокойствия и объективности. Художнику перешел дорогу публицист, художник слагает свои кисти перед человеком. К Успенскому могли бы быть приложены горькие слова, сказанные про Ибсена: «В жизненной битве пал под ним крылатый конь поэзии». Сильно развитая впечатлительность не позволяет отдаваться безмятежной эстетической работе, которая требует внутреннего и внешнего досуга, – а жизнь между тем не ждет, она волнует своими ежедневными и ежечасными тревогами и неумолкаемо стучится в душу, открытую для этих тревог, для чужой скорби и жалобы. Не знает покоя беспокойный внутренний мир Успенского; и потому, чем дальше в жизнь, тем больше художественный момент теряет у него свою самостоятельность. Не то чтобы это было нормальное иссякнове-

ние таланта, скромного по своим размерам; все горе нашего писателя именно в том и заключается, что впечатления действительности тушили в нем очень крупное дарование, очень яркую и самобытную силу.

Нельзя быть художником на ходу, на лету, а Успенский все время странствовал, все время ходил по большой дороге жизни и слушал ее голоса, ее звуки, ее немолчные разговоры, которые он и повторил во всей реальности их трагикомического содержания и даже во всех переливах интонации. Едва ли кто-нибудь из русских писателей так много путешествовал по России, так много ездил, как Глеб Успенский. На палубе парохода, по железной дороге, большей частью в третьем классе, который «галдит, без умолку галдит во всех поездах, бегающих по русской земле», он едет, едет по родному краю, чутким слухом, чутким духом вникая во «все неурядицы, все горести и тяготы, все неудовлетворенные желания-мечтания Великой, Малой, Белой России».

Он едет, едет русскими дорогами, русским бездорожьем, едет по Волге и Каме, по Черному морю и Каспию, и всюду сам собою встречается ему тот людской материал, которого он ищет, потому что он именно – ловец, «ловец человеков», и на него бежит человек. И в результате перед нами – какая-то психологическая этнография, путешествие в чужие сердца, как в чужие, но близкие страны. Непрерывное томление духа побуждает Успенского, бездомного странника, идти на огонек человеческих душ, останавливать всех и каждого, заводить разговор с другими путешественниками, с другими переселенцами, потому что все люди так интересны, у каждого есть свое интимное содержание, своя затаенная печаль, и столько можно услышать глубоких речей, и, может быть, из чьих-нибудь скромных уст нечаянно-негаданно раздастся то слово правды и света, которого жаждет истомленная душа писателя-путника. И жизнь Успенского обращается в длинный ряд дорожных встреч; многие его рассказы представляют собою разговор с каким-нибудь случайным попутчиком, и много у него таких собеседников, потому что беседа – великая потребность его внимательной и общительной души – души, в то же время любопытной и к смешному, исполненной живого юмора. И в этом последнем смысле тоже интересен Успенскому его собеседник, возможный носитель комического. Но больше, чем эта сторона, характеризует автора моральная заинтересованность человеком и его судьбой, его русской судьбой. Успенского мучит совесть, если он не поговорит «самым настоящим, самым душевным разговором», например, с этой партией добровольцев, где «зачастую попадаются бриллианты искренности, доброты, простоты, самоотвержения». И эпиграфом для некоторых его произведений могли бы служить эти слова, как стон звучащие в одном из его очерков: «Боже мой, как мне страстно, как мне жадно хочется поговорить о чем-нибудь живом и услышать живое человеческое слово!»

Он слушает жизнь, подобно тому как один из его героев, под аккомпанемент чужих насмешек, читает жизнь. Правда, и Глеб Успенский, не думая о себе, интересуясь другими, много читает, в особенности – газеты; он понимает все страшное красноречие беглой летописи дня, с ее сведениями «о масле из дерева, о говядине из бумаги», и факты, которые она передает, не улетают от него, «как муха, на мгновение присевшая вам на руку или на лоб»: они запечатлеваются в его сердце жгучими буквами. Но главным образом он слушает жизнь, и ее «степной ревучий ветер, облетая с шумом стены его жилья», доносит к нему «множество самых тревожных звуков, в которых слышен и как бы набат отдаленный и неумолкаемый, и волны, и крик».

Степной ревучий ветер жизни, донося ее тревожный набат, ее волны и крики, разве даст беспокойному путнику погрузиться в негу художественного созерцания? Нет, при таких условиях можно только торопливо зарисовывать в походный альбом жизненные силуэты и сцены, как это и делает Успенский. У него и получилась целая груда записных книжек, и он называет одну из них своей «растрепанной подругой». Жизнь вмещена в записные книжки. Их одухотворенные, трепещущие и нервные страницы богаты человеческими примерами,

разнообразной комбинацией житейских положений. Они содержат много биографий, и притом биографий, принадлежащих таким людям, жизнью которых мало кто интересуется. Она протекает никому не ведомая, никому не любопытная – и в то же время как значительна и близка она для того, кто несет ее бремя на самом себе! И вот это горькое противоречие, эту обиду никому не рассказанной биографии, разрешает Успенский, вдумчивый слушатель действительности, участливый собеседник людей.

Он и в деревню от времени до времени уходит для того, чтобы отдохнуть от своего путешествия по жизни, от человеческого шума столицы. И в деревне в самом деле «темная, черная ночь, смиловавшись над измученными нервами, по которым столичный день, как полупьяный тапер на разбитом инструменте, колотит с утра до ночи, закрывает, наконец, крышку инструмента и ни единым толчком не трогает избитых струн». Но разве и деревня, обильное гнездо всяких тягостей, может надолго дать покой?

При таком живом отношении к живому нельзя быть объективным художником, и сам Успенский быть художником не хочет. Но талант – нечто роковое, и от его стихийной власти освободиться нельзя. Невольно встают перед воображением конкретные фигуры, и слышится характерный говор; невольно жизнь под взглядом скорбящих глаз сама собою складывается в художественные сочетания, и приходит в движение людской калейдоскоп. Публицист не может удержаться на своей логической высоте. Успенский рассуждает, но он и рассказывает, и трудно определить, какая сфера является для него более родной. Все время рассказ и рассуждение ведут между собою борьбу – отголосок того глубокого раздвоения, какое переживает душа писателя. Но душа эта все-таки едина, и в ее внутреннее единство сходятся те психологические и литературные осколки, те драгоценные человеческие дребезги, на которые под молотом жизни раздробилось творчество Успенского. Вот почему одна из своеобразных черт его в том и состоит, что публицистический момент его писаний не производит оскорбительного впечатления преднамеренности. Вы можете принять его литературную манеру или не принять ее, но только не упрекайте его в преобладании рассудка над художественной интуицией: на самом деле пограничная линия между ними не резка, и она теряется в общем единстве писательского духа, в порыве одного вдохновения. Рассказы Успенского в художественном смысле не готовы, но вы не можете сказать, что они тенденциозны. И скорее вы его публицистические страницы назовете художественными, чем его художественные очерки – публицистическими.

Он впустил жизнь в свои записные книжки. Сложное, нелепое, страшное своими ненужными случайностями, жизненное целое преломилось о его духовный мир и получило от него свое освещение и смысл. Жизнь неблагоприятна – между тем она должна была отразиться в такой натуре, которую по преимуществу отличало влечение к благообразию. Н. К. Михайловский давно подметил в Успенском стремление к гармонии. С этой эстетической жадой наш художник пришел в такую среду, которая многими чертами своего быта особенно далека от благолепия. И великая заслуга Успенского заключается в том, что среди безобразия, которое его окружило, он не только сам не потерял красоты, но и прозрел ее в глубине искалеченной, скомканной человеческой души; он увидел ее в такой оболочке, под которой другие, быть может, никогда бы и не почуяли ее благословенного присутствия. А Глеб Успенский ее заметил, ее воспел.

В центре его произведений лежит, как он сам выражается, «большое горе людей, живущих в маленьких избушках». Он озабочен маленькими людьми; он описывает тех, кто свои дни коротает невидимкой, на черной лестнице жизни. Бытописатель мещанства, мелкого чиновничества, мастеровых и крестьян, он изображает происходящую в этой сфере ожесточенную борьбу за существование. Героем и двигателем всего является здесь кусок хлеба, и Успенскому приходится много писать о материальном, о практическом и деловом; он невольно должен опускаться на самое дно житейской прозы, грубой и далекой от всякого

изящества. Жизнь обращается к нему прежде всего той стороною, которая направлена к земному и его насущным заботам. Он мало интересуется женщиной, пейзажем, и человечество у него на первый взгляд – какое-то экономическое. Но, часто говоря о хлебе, он никогда не забывает, что не о хлебе едином жив человек. В этом – его замечательная и самая характерная особенность. Сквозь серую пелену и кору реальных дум о зарботке, о пропитании, сквозь все это хозяйственное, которым исполнены его страницы, просвечивает у него глубокий идеализм, и луврская богиня лучами своей неумирающей красоты достигает Растеряевой улицы. То, что Венеру он увидел в облике мужицкого, то, что он помнил о ней и чувствовал ее в деревне, в темных переулках уездного городка, среди мастеровых, в нескладном гаме будничного прозябания, – это делает его не одним только изобразителем крестьянской среды и страды, это делает его художником духа и дает ему в русской литературе право на бессмертие.

Под благодатным влиянием Милосской Венеры он и нужду описывает не столько в ее внешнем горе, сколько в ее оскорбительной власти над человеческим сердцем, над человеческой красотой. Его занимает разоренье не только экономическое, но и нравственное. Нужда калечит, уродует, комкает душу, клонит ее долу, и прекрасное человеческое существо, которое должно бы развиваться во всей полноте и богатстве своих свободных сил, теряет свой нормальный облик, великое спокойствие своей от Бога завещанной красоты и, как больное дерево, принимает искаженные, уродливые очертания. И старушка Претерпеева, когда-то благообразная, неторопливая, неозабоченная, теперь в запыленной, искалеченной шляпке обивает чужие надменные пороги, крепко прижимает к груди засаленное прошение и, горькая вдова, собирает сухие купеческие пироги и позеленевшие копейки. Или бедный чиновник любит детей, но боится их иметь; он любит жену, но избегает ее и, чтобы испросить себе помощи у Бога, кладет в могилу сына счет расходов на погребение, твердо веря, что двадцать рублей, «истраченные им по этому предмету и составляющие две трети месячного жалованья, обратят внимание неба на его усердие».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.